

ГОРЕ

Токарь Григорий Петров, издавна известный за великолепного мастера и в то же время за самого непутевого мужика во всей Галчинской волости, везет свою больную старуху в земскую больницу. Нужно ему проехать верст тридцать, а между тем дорога ужасная, с которой не справиться казенному почтарю, а не то что такому лежебоке, как токарь Григорий. Прямо навстречу бьет резкий, холодный ветер. В воздухе, куда ни взглянешь, кружатся целые облака снежинок, так что не разберешь, идет ли снег с неба, или с земли. За снежным туманом не видно ни поля, ни телеграфных столбов, ни леса, а когда на Григория налетает особенно сильный порыв ветра, тогда не бывает видно даже дуги. Дряхлая, слабосильная кобылка плетется еле-еле. Вся энергия ее ушла на вытаскивание ног из глубокого снега и подергиванье головой. Токарь торопится. Он беспокойно прыгает на облучке и то и дело хлещет по лошадиной спине.

— Ты, Матрена, не плачь... — бормочет он. — Потерпи малость. В больницу, бог даст, приедем и мигом у тебя, это самое... Даст тебе Павел Иваныч капелек, или кровь пустить прикажет, или, может, милости его угодно будет спиртиком каким тебя растереть, оно и тово... оттянет от бока. Павел Иваныч постарается... Покричит, ногами потопочет, а уж постарается... Славный господин, обходительный, дай бог ему здоровья... Сейчас, как приедем, перво-наперво выскочит из своей фатеры и начнет чертей перебирать. «Как? Почему такое? — закричит. — Почему не вовремя приехал? Нешто я собака какая, чтоб цельный день с вами, чертями, возиться? Почему утром не приехал? Вон! Чтоб и духу твоего не было. Завтра приезжай!» А я и скажу: «Господин доктор! Павел Иваныч! Ваше высокоблагородие!» Да поезжай же ты, чтоб тебе пусто было, чёрт! Но!

Токарь хлещет по лошаденке и, не глядя на старуху, продолжает бормотать себе под нос:

— «Ваше высокоблагородие! Истинно, как перед богом... вот вам крест, выехал я чуть свет. Где ж тут к сроку поспеть, ежели господь... мать божия... прогневался и метель такую послал? Сами изволите видеть... Какая лошадь поблагороднее, и та не выедет, а у меня, сами изволите видеть, не лошадь, а срамота!» А Павел Иваныч нахмурится и закричит: «Знаем вас! Завсегда оправдание найдете! Особливо ты, Гришка! Давно тебя знаю! Небось, раз пять в кабак заезжал!» А я ему: «Ваше высокоблагородие! Да нешто я злодей какой или нехристь? Старуха душу богу отдает, помирает, а я стану по кабакам бегать! Что вы, помилуйте! Чтоб им пусто было, кабакам этим!» Тогда Павел Иваныч прикажет тебя в больницу снести. А я в ноги... «Павел Иваныч! Ваше высокоблагородие! Благодарим вас всепокорно! Простите нас, дураков, анафемов, не обессудьте нас, мужиков! Нас бы в три шеи надо, а вы изволите беспокоиться, ножки свои в снег марать!» А Павел Иваныч взглянет

этак, словно ударить захочет, и скажет: «Чем в ноги-то бухать, ты бы лучше, дурак, водки не лопал да старуху жалел. Пороть тебя надо!» — «Истинно пороть, Павел Иванович, побей меня бог, пороть! А как же нам в ноги не кланяться, ежели благодетели вы наши, отцы родные? Ваше высокоблагородие! Верно слово... вот как перед богом... плюньте тогда в глаза, ежели обману: как только моя Матрена, это самое, выздоровеет, станет на свою настоящую точку, то всё, что соизволите приказать, всё для вашей милости сделаю! Портсигарчик, ежели желаете, из карельской березы... шары для крокета, кегли могу выточить самые заграничные... всё для вас сделаю! Ни копейки с вас не возьму! В Москве бы с вас за такой портсигарчик четыре рубля взяли, а я ни копейки». Доктор засмеется и скажет: «Ну, ладно, ладно... Чувствую! Только жалко, что ты пьяница»... Я, брат старуха, понимаю, как с господами надо. Нет того господина, чтоб я с ним не сумел поговорить. Только привел бы бог с дороги не сбиться. Ишь метет! Все глаза запорошило.

И токарь бормочет без конца. Болтает он языком машинально, чтоб хоть немного заглушить свое тяжелое чувство. Слов на языке много, но мыслей и вопросов в голове еще больше. Горе застало токаря врасплох, неожиданно-негаданно, и теперь он никак не может очнуться, прийти в себя, сообразить. Жил доселе безмятежно, ровно, в пьяном полузабытьи, не зная ни горя, ни радостей, и вдруг чувствует теперь в душе ужасную боль. Беспечный лежебока и пьянчужка очутился ни с того ни с сего в положении человека занятого, озабоченного, спешащего и даже борющегося с природой.

Токарь помнит, что горе началось со вчерашнего вечера. Когда вчера вечером воротился он домой, по обыкновению пьяненьким, и по застарелой привычке начал браниться и махать кулаками, старуха взглянула на своего буяна так, как раньше никогда не глядела. Обыкновенно выражение ее старческих глаз было мученическое, кроткое, как у собак, которых много бьют и плохо кормят, теперь же она глядела сурово и неподвижно, как глядят святые на иконах или умирающие. С этих странных, нехороших глаз и началось горе. Ошалевший токарь выпросил у соседа лошаденку и теперь везет старуху в больницу, в надежде, что Павел Иванович порошками и мазями возвратит старухе ее прежний взгляд.

— Ты же, Матрена, тово... — бормочет он. — Ежели Павел Иванович спросит, бил я тебя или нет, говори: никак нет! А я тебя не буду больше бить. Вот те крест. Да нешто я бил тебя по злобе? Бил так, зря. Я тебя жалею. Другому бы и горя мало, а я вот везу... стараюсь. А метет-то, метет! Господи, твоя воля! Привел бы только бог с дороги не сбиться... Что, болит бок? Матрена, что ж ты молчишь? Я тебя спрашиваю: болит бок?

Странно ему кажется, что на лице у старухи не тает снег, странно, что само лицо как-то особенно вытянулось, приняло бледно-серый, грязно-восковой цвет и стало строгим, серьезным.

— Ну и дура! — бормочет токарь. — Я тебе по совести, как перед богом... а ты, тово... Ну и дура! Возьму вот и не повезу к Павлу Ивановичу!

Токарь опускает вожжи и задумывается. Оглянуться на старуху он не решается: страшно! Задать ей вопрос и не получить ответа тоже страшно. Наконец, чтоб покончить с неизвестностью, он, не оглядываясь на старуху, нащупывает ее холодную руку. Поднятая рука падает как плеть.

— Померла, стало быть! Комиссия!

И токарь плачет. Ему не так жалко, как досадно. Он думает: как на этом свете всё быстро делается! Не успело еще начаться его горе, как уж готова развязка. Не успел он пожить со старухой, высказать ей, пожалеть ее, как она уже умерла. Жил он с нею сорок лет, но ведь эти сорок лет прошли, словно в тумане. За пьянством, драками и нуждой не чувствовалась жизнь. И, как на зло, старуха умерла как раз в то самое время, когда он почувствовал, что жалеет ее, жить без нее не может, страшно виноват перед ней.

— А ведь она по миру ходила! — вспоминает он. — Сам я посылал ее хлеба у людей просить, комиссия! Ей бы, дуре, еще лет десяток прожить, а то, небось, думает, что я и взаправду такой. Мать пресвятая, да куда же к лешему я это еду? Теперь не лечить надо, а хоронить. Поворачивай!

Токарь поворачивает назад и изо всей силы бьет по лошадке. Путь с каждым часом становится всё хуже и хуже. Теперь уже дуги совсем не видно. Изредка сани наедут на

молодую елку, темный предмет оцарапает руки токаря, мелькнет перед его глазами, и поле зрения опять становится белым, кружащимся.

«Жить бы сызнова»... — думает токарь.

Вспоминает он, что Матрена лет сорок тому назад была молодой, красивой, веселой, из богатого двора. Выдали ее за него замуж потому, что польстились на его мастерство. Все данные были для хорошего житья, но беда в том, что он как напился после свадьбы, завалился на печку, так словно и до сих пор не просыпался. Свадьбу он помнит, а что было после свадьбы — хоть убей, ничего не помнит, кроме разве того, что пил, лежал, дрался. Так и пропали сорок лет.

Белые снежные облака начинают мало-помалу сереть. Наступают сумерки.

— Куда ж я еду? — спохватывается вдруг токарь. — Хоронить надо, а я в больницу... Ошалел словно!

Токарь опять поворачивает назад и опять бьет по лошади. Кобылка напрягает все свои силы и, фыркая, бежит мелкой рысцой. Токарь раз за разом хлещет ее по спине... Сзади слышится какой-то стук, и он, хоть не оглядывается, но знает, что это стучит голова покойницы о сани. А воздух всё темнеет и темнеет, ветер становится холоднее и резче...

«Сызнова бы жить... — думает токарь. — Инструмент бы новый завести, заказы брать... деньги бы старухе отдавать... да!»

И вот он роняет вожжи. Ищет их, хочет поднять и никак не поднимет; руки не действуют...

«Всё равно... — думает он, — сама лошадь пойдет, знает дорогу. Поспать бы теперь... Покеда там похороны или панихида, прилечь бы».

Токарь закрывает глаза и дремлет. Немного погодя, он слышит, что лошадь остановилась. Он открывает глаза и видит перед собой что-то темное, похожее на избу или скирду...

Ему бы вылезти из саней и узнать, в чем дело, но во всем теле стоит такая лень, что лучше замерзнуть, чем двинуться с места... И он безмятежно засыпает.

Просыпается он в большой комнате с крашеными стенами. Из окон льет яркий солнечный день. Токарь видит перед собой людей и первым делом хочет показать себя степенным, с понятием.

— Панихидку бы, братцы, по старухе! — говорит он. — Батюшке бы сказать...

— Ну, ладно, ладно! Лежи уж! — обрывает его чей-то голос.

— Батюшка! Павел Иванович! — удивляется токарь, видя перед собой доктора. — Вашескородие! Благодетель!

Хочет он вскочить и бухнуть перед медициной в ноги, но чувствует, что руки и ноги его не слушаются.

— Ваше высокородие! Ноги же мои где? Где руки?

— Прощайся с руками и ногами... Отморозил! Ну, ну... чего же ты плачешь? Пожил, и слава богу! Небось, шесть десятков прожил — будет с тебя!

— Горе!.. Вышескородие, горе ведь! Простите великодушно! Еще бы годочков пять-шесть...

— Зачем?

— Лошадь-то чужая, отдать надо... Старуху хоронить... И как на этом свете всё скоро делается! Ваше высокородие! Павел Иванович! Портсигарчик из карельской березы наилучший! Крокетик выточу...

Доктор машет рукой и выходит из палаты. Токарю — аминь!